

Семен Яуза

## Дворец труда у бывшей Хитровки

Вот и чугунные ворота, от которых, по слову мемуариста, тянулась «длинная, как улица, плохо вымощенная аллея». Теперь нет ни ворот, ни аллеи, только несколько оглохших от пыли деревьев по левую и правую стороны и асфальтовая дорога, прерывающаяся где-то там впереди, и трудно вообразить, что в иные дни здесь не раскатывали, шурша колесами, автомобили, а шли густым потоком совслужащие, торопясь к урочному часу. Иногда опоздавшие (тот же М. Штих, несостоявшийся соавтор романа «Двенадцать стульев»), дрожа начальственного гнева, проникали во Дворец труда со стороны Москворецкой набережной. Там и калитка попроще, и аллеи нет: тотчас задворки дома. Но, пожалуй, и к лучшему, что из аллегии «Милосердие и Воспитание», встарь украшавшей парадный въезд в эти казенные пределы, исчезли фигуры благодетельных пеликанов. Сотрудники «Гудка», весьма и весьма насмешливые молодые люди, уроженцы портового города, отлично знали – каковы морские вольные птицы: наглые, вороватые, прожорливые, зря ли слово «баклан» стало крупницей блатного жаргона, «бакланы» (во множественном числе, не иначе, во множественном – всем скопом, всей кодлой) означает «хулиганье». Кроме того, вчерашние и позавчерашние одесситы помнили и одесского городского голову Б.А. Пеликана, человека взглядов крайне реакционных, энергичного деятеля Союза русского народа и Союза имени Михаила Архангела, предлагавшего в борьбе с еврейской интеллигенцией опираться на иудеев-ортодоксов.

Представляется, впрочем, в здешних местах многое бы должно было напоминать о родной Одессе. Вот и скульптурные груп-

пы работы И. Витали – нечто столь классическое, что уж чересчур, слышен тонкий привкус обмана, каковой при желании можно посчитать и сокрытой иронией. Так должен был восприниматься и наряженный в тогу, как будто для него чуть великоватую, Дюк, безвыходно торчащий на Николаевском бульваре, а ныне – бульваре Фельдмана. О, эта псевдоантичная тога с чужого плеча!

Весь район вокруг Солянки – вотчина обрусевшего итальянца, музей под московским распахнутым небом: на Лубянской площади против здания бывшего страхового общества «Россия», занятого ВЧК, а затем ОГПУ (вот откуда то шажком, то побегом распространились слова – госстрах и госужас), украшенный чугунной композицией по его эскизу фонтан, из которого извозчики поили лошадей, разом споря и соглашаясь на том, что овес нынче дорог.

Строения, где размещался прежде Воспитательный дом, тоже исполнены в псевдоклассической традиции. Желто-белые, едва белесоватые архитектурные громады – знак екатерининских времен, официоза, – тянущиеся к античным образцам и ни в коей мере не могущие дотянуться. Там – легкость самой каменной тяготы, здесь неподъемная огромность бюрократии, ленивая толща кирпичных стен, дремота вполглаза арок и коридоров, сень потолочных сводов, заменяющая природную.

А рядом: Хитровка, сметенная новой властью в 1923 году, но живучая. Хитрованцы – оборванцы и босяки, людская пестрядь. Густой влажный запах от близкой и грязной воды, прозываемой рекой Москвой, и впадающей в нее речкой Яузой, еще грязнее и ближе. Православный храм, освятивший этот удел столицы, и даже синагога в Большом Спасоглинищевском переулке, что взбирается от Солянки вверх по одному из многих московских холмов, которых, сообразно принятым меркам – семь, а на деле – едва ли не сорок. Иначе откуда это здешнее – сорок сороков? На каждом взгорке по церкви.

Молодые безбожники, давно растерявшие веру, независимо от происхождения своего и семейного вероисповедания, ни храмов, ни синагоги, следуя на службу и со службы, не замечали. Они спешили, их влекла благородная цель – заработать, чтобы выкроить свободное время и писать.

Редакция «Гудка» несколько раз меняла адрес, то ли по нетерпению, склонности к переменам, то ли потому, что редакции железнодорожной газеты, где изо дня в день талдычат о подвижном составе и беспорядке путевого хозяйства, по статусу не положено обустраиваться надолго.

В тот период, о котором рассказывается здесь, адрес менялся дважды. Просуществовав сколько-то на Ново-Басманной – вообще улицы и переулки около Разгуляя обжиты путейцами: тут находился дом правления Московско-Курской и Нижегородско-Муромской железных дорог, а к тридцатым годам началось строительство здания НКПС, из числа примечательнейших московских зданий, – редакция переместилась к центру, обосновавшись возле улицы Тверской.

Переулок этот, где располагалась типография «Гудка», а теперь устроилась и редакция, мемуаристы называют коротко Чернышевским, что не совсем верно или неверно совсем. Речь идет о Большом Чернышёвском переулке, переименованном в улицу Станкевича (так вместе с новым именем переулок в 1922 году получил и новый статус, был как бы повышен в ранге). А Чернышевским переулком, по фамилии уже не московского генерал-губернатора, но писателя-демократа, чем обусловлена смена е и ё, стал называться бывший 2-й Мариинский переулок совсем в другом конце столицы. Ясности это не вносило.

На улицу Станкевича как-нибудь предстоит вернуться, пока же дорога лежит на Солянку, во Дворец труда, куда откочевала неумная редакция газеты «Гудок». День можно назвать почти точно – 1923 год, 23 либо 24 июля (колебания в дате связаны не только с тем, что не чересчур определены источники, переезд всегда требует не вполне определенного срока).

Вариант был или промежуточным, или принят от безысходности. Вроде бы намечалось разместить редакцию в здании на углу Калашного, Нижнего Кисловского и Малого Кисловского переулков, но дом, затем известный как дом Моссельпрома, не был еще достроен, вернее – отремонтирован (наспех возведенный из некондиционного кирпича, отвратно спланированный, долго он не простоял, стена рухнула, сложившись на все свои семь этажей).

Позже дом Моссельпрома стал эмблемой современности, новизны (хотя сооружать его начали до первой мировой войны), комплекс зданий бывшего Воспитательного дома представлялся символом навсегда отошедшего в небытие времен. Два корпуса были возведены в XVIII веке по проекту К. Бланка, в XIX веке комплекс достраивался, расширялся при участии братьев Жилиярди, А. Григорьева, М. Быковского. Когда бушевал великий московский пожар 1812 года, и сгорело многое множество строений в разных частях города, спасли главный корпус служители учреждения, по преданию, вкуче с жандармами, оставленными Наполеоном для призора раненных французских воинов, находившихся тут же, и потому здание это – редкий образец архитектуры допоздней Москвы.

Некоторые постройки существуют десятилетиями, но так и остаются всего лишь постройками, не больше того. Некоторые становятся обязательной частью былого. Вокруг некоторых, чей воздух своеобразен, ни на что не похож, клубится собственная мифология. В записной книжке Ильфа можно отыскать наброски таких локальных мифов, вряд ли действительных, скорее, выдуманных им самим, но выдумки такого рода совсем не случайны. Упоминается мифический или облаченный легендой часовщик, который бродит по Дворцу труда из комнаты в комнату. Обширность здания, бесчисленное число помещений, разнесенных по коридорам, порождают и другую фантастическую фигуру – товарищ Шапиро, про которого, «в какую комнату ни зайди» и ни спроси, здесь ли тот занимается, говорят: подождите, он вышел. Персонаж этот напоминает товарища Кальсонера из булгаковской «Дьяволиады», оба – фантомы, порожденные бюрократической системой, каждый на свой манер, оба неуловимы и вездесущи. Хотя почему оба, если Кальсонеров двое, из-за путаницы, внесенной этими близнецами, едва и не потерял рассудок герой «Дьяволиады».

Короткие сюжеты из ильфовских записных книжек, занесенные для памяти, отнюдь не проигрывают рядом с сюжетом повести Булгакова. Ироническую фразу: «Вел свое происхождение от лошадей Мюрата, стоявших во Д<ворце> т<руда>», – можно избрать в качестве завязки для повествования о мошеннике.

Почему б по Дворцу труда не бродить, вроде «сыновей лейтенанта Шмидта», как бы кентавру, подкованному на все четыре копыта в уголовном кодексе?

Или вот сюжетная перипетия, в которой могли бы сыграть достойные роли Остап Бендер и Воробьянинов: «Собирали на построение Дворца труда». Не сродни ли эта уловка другой, когда собирали деньги на поддержание известного Провала в Пятигорске. Провал давным-давно образовался, и с ним ничего не стряется, Дворец труда вовсе не строился, он был учрежден в уже имевшихся архитектурных объемах.

Что за чудесные пространства! На лестницах и площадках чугунные плиты, украшенные кругами с орнаментом. Когда-то и беспредельные коридоры выложены были такими плитами.

О коридорах Дворца труда лучше всего рассказано в «Двенадцати стульях». Необычайную точность описания подтверждает мемуарист, но свидетельство это следует принимать, делая поправку на жанр. Ильф и Петров сочиняли роман-памфлет, а не памятку молодого строителя, их занимали характеры персонажей и суть явлений жизни. Впрочем, не в ущерб верности натуре.

К вечеру коридорные пролеты сказочно преобразались: «В коридорах зажглись несветлые лампы. Все лампы, все коридоры и все двери были одинаковы». Это ли не мистика, если указатели ведут в никуда, а движение утратило смысл, ибо к чему оно, когда все похоже на все? Ильф и Петров вдвоем и порознь исходили эти бескрайние коридоры, где можно было не только спешить по делам, но и без дела прогуливаться, выполнив дневной урок, перед тем как приняться вечером за сочинение собственного романа. Тогда-то и познакомились они со странной традицией, каковая запечатлена в «Двенадцати стульях» одной-единственной лапидарной фразой: «В Москве любят запирать двери». Выйдя на площадку лестницы, рискуешь не попасть обратно.

Редакция «Гудка» располагалась не на втором этаже, как считают вольные комментаторы, которые вряд ли удосужились разузнать, что к чему, или просто задуматься над нумерацией редакционных комнат, а на третьем, там в кои веки помещались дортуары воспитанников, круглые дортуарные окна глядели в двухсветный коридор. Окна эти остались, и остались медные

дверцы печей, обогревавших спальни. Возле одной из таких, нечищенных, но тускло сиявших дверей собирались покурить и потрепаться гудковцы и те, кто забредал в редакцию по необходимости или по обыкновению. Кто-то назвал этот пятачок «Клубом у вьюшки». Место походило на вагонную площадку, и не зря сам коридор третьего этажа Ильф сравнил с коридором пассажирского вагона.

Комнаты, где сидели сотрудники «Гудка» и, кроме прочих, отдела, именуемого для простоты «Четвертая полоса» и под таким названием вошедшего в историю отечественной словесности, отнюдь не напоминали купе. Были они пусть и не чересчур велики, но и не малы чрезмерно. Столы в два ряда сдвинуты вместе. Получилось нечто вроде углом выведенного помоста, где можно разложить письма, свежие, едва из-под пресса, еще влажноватые гранки, справочники. Так удобнее – больше места для работы, ведь сотрудников в культурно-бытовом отделе предостаточно. Кстати, неофициальное название за отделом числилось по инерции: когда вырос объем газеты, материалы, подготовленные отделом, печатались уже на шестой полосе, а не на четвертой. Основу коллектива составляли обработчики, или, в просторечии, правщики, то есть те, кто готовит к печати, вернее же говоря, переписывает заметки рабкоров. Сейчас этот процесс называется «рерайтинг», но отличие современных рерайтеров от гудковских правщиков в том, что рерайтеры текст усредняют, подгоняя его под общий стиль издания, тогда как гудковцы создавали тексты на особину.

Вышло оно само собой, постепенно сделалось обычным для «Четвертой полосы», где работали по большинству начинающие литераторы, а молодым скучно держаться норм, хочется оригинальничать, испытывать свои силы, не экономя их, тратя по пустякам.

Заведовавший отделом А. Григорович (кстати, известный тогда автор, выпустивший с десяток книг) благоразумно решил, что к хорошему это вряд ли приведет, раньше или позже эксперименты обернутся скандалом, и перевелся в другой отдел.

Место его занял И. Овчинников, личность, вроде бы, не чересчур примечательная, и все-таки вписавшаяся в анналы литературы.

Новый зав стал прототипом одного из персонажей «Золотого теленка», в чем-то определив и сюжетные повороты романа. Считается, что именно у него Ильф и Петров заимствовали отданную затем Корейко привычку к поеданию сырой репы – сырыми овощами завтракал и заведующий культурно-бытовым отделом. На деле же не любовь к сыроядению главное, но об этом поговорим как-нибудь при случае.

Другой местной достопримечательностью, кроме грызущего то морковку, то репку завождем, была, если не считать огромной карты полушарий, вывешенной для вящей красоты, стенгазета с предельно скупым названием «Сопли и вопли». Стенгазета упоминается разными мемуаристами, которые пишут о ней восторженно и скупко. А зря, очень и очень зря. Вот хотя бы название.

Можно высказать догадку – таинственное (но оказавшееся настолько удачным и емким, что, делая пометки на полях чужой рукописи, будто литературоведческие термины и формулировки, использовал его Катаев) это название восходит к устойчивому обороту, популярному среди бывших одесситов. И не исключено, что предложил его Бабель, захаживавший в редакцию «Гудка», либо кто-то из хороших его знакомых выхватил эту отчасти поговорку, отчасти присловье, из бабелевской повседневной речи.

Косвенным подтверждением служит фрагмент письма 1930 года, адресованного Бабелем сестре: «У нас и дом будет, и покой, и работа – и все мы будем вместе – все это делается – нечего издавать тут сопли и вопли – сопли на вопли... <...> Мне, дураку, кажется, что надо радоваться, имея сына с такой несокрушимой философией – а тут сопли на вопли... Фэ – это глупо...».

В стенгазете, занимавшей простенок «за спиной Ильфа» (хоть в чьих-то воспоминаниях указывалось, что была она в полную стену, значит, ни о каком простенке рассуждать не приходится, да и у Ильфа спина вроде не так широка), собраны были печатный вздор, глупости, в том числе и благоглупости, ляпсусы, высокопарный бред – все, чем богаты и рады страницы газет и журналов.

А начиналось так. Обработывая рабкоровские письма, сотрудники «Четвертой полосы» давали им занятные названия, часто заголовок был рифмованным. Даже возник свой характерный

стиль. Но что годится для фельетона, смерть для деловой корреспонденции, однако рифмованные заголовки стали появляться и над материалами прочих отделов. С того и пошла есть стенгазета.

Высмеивали глупое подражательство сослуживцев. Издевались над вычурностью стиля, огрехами слога, над языком «шершавого сукна». Читая другие издания, тоже находили смешные заголовки, ляпы и тяпы. Усердно искал материал для стенгазеты Евгений Петров. Стенгазета росла и ширилась, возникали новые рубрики. Например, раздел «Так говорил Яков Рацер». Тут помещались стихи торговавшего углем и дровами нэпмана, который лично сочинял рекламу для своего товара. Стихи были глупые, несуразные, однако ж застряли в истории словесности, а ведь многое, куда как достойное, смыто густым потоком времени.

Особый раздел назывался «Литературно-музыкально-вокально-хореографический хедер имени Марсея Пруста». Название дано по шутке Ильфа. Хедером, как известно, зовется еврейская начальная школа, где обучают основам грамоты. В «Гудке», этой школе их мастерства, работали начинающие писатели. Молодые сочинители, по большинству – иудеи, писали «слишком изысканно, почти брезгливо к слову», наподобие того, как относился к слову Пруст, законодатель тогдашней стилистической моды, кутюрье от изящной словесности (при том условии, что он служит во всесоюзной транспортной газете, хотя бы в отделе писем). Выдержки из рукописей начинающих авторов, общего у которых с Прустом было разве то, что не имелось ни минуты лишней, и пребывали они в вечных раздумьях – куда же девается время, если его всегда не хватает, и составляли данный раздел.

Учились писать не одни гудковцы. Двадцатые годы породили тьму тьмушую журналистов-непрофессионалов – рабкоров и селькоров (и даже комкоров, которые, впрочем, отношения к пишущей братии, как правило, не имели, за исключением разве что Виталия Примакова, писавшего столь же лихо и наотмашь, как махал он шашкой и наганом). Остро требовались учебные пособия, а те отсутствовали либо из рук вон были плохи. И потому зашедший в редакцию «Гудка» сотрудник другой газеты обрадовался от души, увидев такое внушительное собрание пусть и отрицательных примеров. Он копировал самые подходящие



образчики и учил рабочих корреспондентов не как следует, а как не следует им писать. По его предложению сотрудники культурно-бытового отдела сочинили пособие для начинающих, но, созданное по канонам «Четвертой полосы», вышло то, скорее, памфлетом, нежели учебником.

Надо заметить, что и манера, и тематический круг тогдашнего «Гудка» были далеки от официального ригоризма. Появлялись заметки откровенно фантазмагорические, просто вызывающие к разоблачению. Например, информация: поймана рыба-пила с 36 детенышами в животе. Кончилось тем, что на страницах журнала «Заноза» Катаев выступил с опровержением, заявив – это не рыба-пила, а пил кто-то из гудковцев.

Еще одна история также указывает на качество публиковавшегося в газете материала. Известный переводчик Давид Бродский, московский одессит, пришел к Багрицкому с просьбой – нужны деньги на покупку замечательных, редких книг, а денег нет и не предвидится. Самый простой способ подзаработать – тиснуть дежурное стихотворение, но загвоздка в том, что такое стихотворение Бродского или не напечатают вовсе, или будут мурыжить незнамо сколько, а деньги требуются, как говорится, «здесь и сейчас». Багрицкий дело иное, стихи под его фамилией напечатают тут же, какого бы качества ни были. Так не подпишет ли Эдя сочиненные Бродским стихи?

Багрицкий по мягкости душевной не любил отказывать, хотя и вирши, и сама затея ему не нравились. Но отчего не помочь земляку, даровитому литератору? И Багрицкий поставил свою фамилию под чужим стихотворением, которое и напечатали. Следовало получить гонорар, что платили тогда не раз в месяц, а еженедельно.

Пройдошливый книгочей его бы и получил, когда б в окно Багрицкий не увидел одного из насельников кунцевской литературной колонии. Тот шел, ежась от холода, поскольку от безалаберности и бедности не имел пальто. Будто в одесской песне, откуда и слова не выкинуть, –

мама, мама, что ж мы будем делать,  
когда наступят зимни холода?.. –

становится все студенее, денег нет и не будет, а сосед по светелке этого фейгеле хочет получить несправедный гонорар. Кончилось тем, что доверенность для бухгалтерии «Гудка» выписана была не Бродскому, но его соседу. И таки пальто он купил, что зафиксировано мемуарами и подытожено долгой жизнью счастливица, окончившейся на десятом десятке: чужая забота греет душу не хуже пальто, строенного на добротном ватине, а уж теплое пальто заботливо, как родной человек.

Таковы гудковские и возлегудковские будни. Но картина пребудет неполной, если умолчать о том, что творилось за толстыми стенами бывших дортуаров, в кишмя кишасщем работниками и посетителями Дворце труда.

Здесь, кроме прочих учреждений и организаций, разместилось с полусотню отраслевых газет и журналов («журналы и журнальчики», как презрительно окрестил их один литератор, работавший в респектабельном альманахе, и был по-своему прав). Изданиям, даже ведомственным, чтобы выходить регулярно, требуются материалы. И в редакции чередую тянулись авторы. Вернее сказать, словно пчелы, несли они в этот огромный, шумный и бестолковый профсоюзный улей свою скромную лепту – очерки, стихи, информации. Или слетались, будто на мед, ведь, не в пример всяким пчелам, авторы получали гонорар, который можно было истратить, скажем, в местной столовой, расположенной в полуподвале.

Тут разрешалось курить, и тут подавали пиво. Его пили часто и помногу, о чем поминает в дневнике Булгаков: «Без проклятого пойла – пива не обходится ни один день». Киевлянину, попавшему затем на Кавказ, да и застрявшему там на несколько лет, пиво, конечно, не в радость. Одесситам, знававшим пиво заводов Енни, Санценбахера и Родоканаки, что уж вспоминать пиво завода Паулины Гоппенфельд, пить его – не труд, но обыкновение.

Однако не о привычках, плохих ли, хороших, речь. Булгаков с его культом призвания, противопоставленным ежедневности бытия, по сути – долга жить, расплачиваясь собственными временем и силами, из гудковцев чуть ли не первым заявил, что цена непомерно, чересчур велика. Поденщина кормит и поит, взамен пожирая нахлебника. Спротивлению активному Булгаков

предпочел пассивный отпор, производственный – если уместно такое словцо – стрекулизм. Вместо установленных по договору восьми фельетонов в месяц начал делать то семь, то пять. Ссылаясь ли на забывчивость, тисками сдавившие обстоятельства, и не ссылаясь вовсе, ставя начальство перед фактом: фельетона нет. Однако фельетонистов в «Гудке» имелась чертова дюжина, если не целый чертов гросс. Было кому давать материал. Да и желающих заработать, чтобы потом весело потратить внеочередной гонорар, было хоть отбавляй. А наведавшись в кассу, можно спуститься по ступенькам, что ведут в столовую Дворца труда.

За столом располагались компаниями, затевался общий разговор, смеялись, пикировались, не жалея сил, их по юности лет с избытком. Шутили всегда и везде. О, как они шутили!

